

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне кажется, я заслужил место в книге рекордов. Этот роман писался без одного года полвека. В 1958-м задуман, в 2007-м окончен. Задуман был сразу как эпическое, растянутое во времени сочинение. Отсюда и название «Жизнь и необычайные приключения». Меня все время удивляло, почему, читая книгу в том виде, в каком она была, ни один человек не спросил: «Приключения-то есть, а где же жизнь?» Жизни в первых двух книгах было всего-то лето и начало осени 1941 года.

В самом начале, замыслив роман, я сочинял его больше в уме, думал о разных поворотах сюжета, комических ситуациях, пересказывал их своим друзьям и тем удовлетворялся. Записывать не спешил, полагая, что времени впереди много. Его и в самом деле выпало достаточно, но не всякое оказалось пригодным для спокойного сочинительства. Мне кажется, что писать нечто эпическое можно только в эпическом состоянии духа, а оно у меня с конца шестидесятых годов и по крайней мере до середины восьмидесятых было не таковым. Ядерная сверхдержава объявила мне войну, пытаясь остановить, как говорится, мое перо. Когда в Союзе писателей меня учили уму-разуму, писа-

тель Георгий Березко нервически взывал: «Войнович, прекратите писать вашего ужасного Чонкина». В КГБ меня настойчиво просили о том же, приведя более веские аргументы в виде отравленных сигарет.

Меня не посадили, но создали условия, способствовавшие больше сочинению не эпического полотна, а открытых писем то гневных, то язвительных, которыми я время от времени отбивался от нападавших на меня превосходящих сил противника. Я не оставлял своих попыток продолжения главного дела, но, раздраженный постоянными уколами и укусами своих врагов, все время сбивался на фельетонный стиль, на попытки карикатурно изобразить Брежнева или Андропова, хотя эти люди как характеры и прототипы возможных художественных образов никакого интереса не представляли. Они заслуживали именно только карикатуры и ничего больше, но роман-то я задумал не карикатурный.

Кстати сказать, я обозначил когда-то жанр сочинения как роман-анекдот, из чего некоторые критики сделали разнообразные выводы, но это обозначение было просто уловкой, намеком, что вещь-то несерьезная и нечего к ней особенно придираться.

Покинув пределы СССР, а потом вернувшись в него освобожденным от постоянного давления, которому подвергался долгие годы, я много раз пытался вернуться к прерванной работе, исписал несколько пачек бумаги и почти все написанное выбросил. Ничего у меня не получалось. И сюжет складывался вымученный, и фразы затертые, что

меня ужасно мучило и удивляло. Я думал, как же это так, ведь еще недавно было же во мне что-то такое, что привлекало внимание читающей публики. И все-таки, продолжая свои усилия, я снова и снова с тупым упорством толкал свой камень в гору.

Некоторые мои читатели убеждали меня, что «Чонкин» и так хорош и продолжения не требует, но я, написав две первые книги, чувствовал, что не имею права умереть, не закончив третью. Мое состояние можно было бы сравнить с состоянием женщины, которая, выносив тройню, родила только двоих, а третий остался в ней на неопределенное время.

Был момент, когда мне вдруг совсем надоело «искусство ставить слово после слова» (Б. Ахмадулина), и я вообще бросил писать, сменив перо (точнее, компьютер) на кисть. Сорок лет подряд я хорошо ли, плохо ли, но писал что-нибудь практически каждый день. Никогда не испытывал недостатка в сюжетах и образах, а тут как отрезало. Ни образов, ни сюжетов. Текущая перед глазами жизнь не возбуждает потребности как-нибудь ее отразить. Рука не тянется к перу, перо к бумаге, и компьютер покрылся пылью. Потом я вернулся в литературу только частично: писал публицистику и мемуары. Они тоже, кстати, давались с трудом. А уж пытаюсь сочинить хотя бы небольшой рассказ, и вовсе чувствовал полную беспомощность начинающего. Как будто никогда ничего не писал.

В конце концов я решил, что, наверное, все, колодец исчерпался и нечего зря колотить ведром по пустому дну. И с мыслью об окончании «Чонкина» тоже пора проститься.

Высшие силы оказались ко мне снисходительны и позволили дожить до момента, когда я с радостью понял, что приговор, вынесенный мною самим, оказался преждевременным.

Тут я позволю себе отвлечься на лирику и посвятить читателя в некоторые подробности моей личной жизни. Будучи сторонником брака на всю жизнь, я тем не менее до недавнего времени был женат дважды. С первой женой через восемь лет разошелся, со второй прожил сорок лет до ее последнего вздоха. Так получилось, что первая книга «Чонкина» была написана при одной жене, вторая — при другой. Их присутствие в моей жизни так или иначе влияло на эту работу, которая в осуществленном виде временами сильно осложняла жизнь мою и моих жен, деливших со мной все последствия моих замыслов и поступков. Поэтому я решил, что правильно поступлю, если посвящу, хотя бы задним числом, первую книгу памяти Валентины, а вторую — Ирины.

Ирина умирала долго и тяжело. А когда все кончилось, я почувствовал полное опустошение, апатию и стал просто чахнуть. То есть как-то жил, что-то делал, писал что-то вялое, но не получал от этого да и от самого своего существования никакого удовольствия. Меня вернула к жизни Светлана, тоже какое-то время тому назад потерявшая самого близкого человека. Будучи существом жертвенным, она привыкла всегда о ком-то заботиться и, утратив предмет главной заботы, находилась в покоем на мое состояние. Мне кажется, мы оба вовремя нашли друг друга.

Светлана окружила меня таким физическим и душевным комфортом, что мне ничего не оста-

лось, как восстать из пепла. Я понял, что опять желаю жить, писать и, что интересно, даже могу это делать. Там, в колодце, оказывается, что-то все-таки накопилось. Я стер пыль с компьютера и остревенело застучал по клавишам, испытывая необычайное, давно забытое вдохновение. На семьдесят пятом году жизни я работал как в молодости. Путал день с ночью, поспешая за героями, которые, как раньше, сами себя творили. Могу сказать уверенно, что без Светланы этого бы не случилось. Поэтому третью книгу я по справедливости и с любовью посвящаю ей.

Часть первая

ВДОВА ПОЛКОВНИКА

1

Присвоение Ивану Кузьмичу Дрынову очередного генеральского звания и звания Героя Советского Союза, естественно, привлекло к себе внимание советских журналистов. Тем более что случилось это в начале войны, когда Красная армия на всех фронтах отступала и генералов чаще расстреливали, чем награждали. А тут генерал оказался обласкан властью, и ходили слухи, что лично товарищ Сталин пил с ним чуть ли не на брудершafft. Конечно, журналисты кинулись к генералу со всех сторон, но расторопнее всех оказался, как всегда, корреспондент «Правды» Александр Криницкий, уже писавший о подвигах Дрынова. Будучи лично знакомым с генералом и представляя главную партийную газету, он прежде других добился у Дрынова повторного приема. Прием состоялся в подмосковном санатории, куда генерал был послан для короткого отдыха и восстановления сил.

Криницкий нашел генерала прогуливающимся по ковровым дорожкам первого этажа в полосатой пижаме с прикрученной к ней Золотой звездой. Они устроились в холле под фикусом. Криницкий достал из полевой сумки блокнот, а Дрынов из кармана — пачку папирос «Северная Пальмира». Отвечая на вопросы журналиста, он сказал, что,

хотя ему и удалось провести блестящую военную операцию, не надо забывать, что подобные удачи бывают у генералов только тогда, когда отважно воюют руководимые ими солдаты. Тут к слову он вспомнил о Чонкине и подробно рассказал Криницкому о подвиге этого бойца. О том, как тот, защищая самолет, совершивший вынужденную посадку, героически сражался с целым полком, но теперь уже, с каким именно полком, уточнять не стал.

Поскольку участники беседы были сильно выпивши, рассказ генерала Криницкий запомнил неточно, а блокнот свой по дороге в редакцию потерял. Пытаясь восстановить рассказ Дрынова, он вспомнил, что Чонкин охранял самолет, на котором сам же как будто и прилетел. Поэтому Криницкий решил, что Чонкин был летчиком. Дальше нехватку материала он восполнил полетом своей журналистской фантазии, которая его никогда не подводила. Это, кажется, именно он создал миф о двадцати восьми героях-панфиловцах, вошедший в учебники истории как неоспоримый факт подвига, при котором он сам почти как будто присутствовал. Этих героев, якобы принявших неравный бой с немецкими танками и погибших у разъезда Дубосеково, он придумал и приписал мифическому комиссару Клочкову мифическую фразу, которую тоже, естественно, сочинил и которой гордился до самой смерти: «Отступать некуда, позади Москва!» Да и не только гордился, но каждого, кто сомневался в полной или хотя бы частичной достоверности легенды, подвергал в печати такой резкой критике, что на долю усомнившегося выпадали большие испытания.

Вот и о подвиге летчика Чонкина Криницкий сочинил очерк, который в редакции был признан лучшим материалом недели, а потом и месяца и был вывешен на специальной доске. Криницкий целый месяц ходил чрезвычайно довольный собой, гордо выпятив грудь и живот. Впрочем, нет, не месяц, он всегда ходил, гордо выпятив все, что мог, потому что через месяц оказывалось, что, к зависти коллег-журналистов, он опять написал лучший очерк о том, чего не видел. Газета с очерком о Чонкине разошлась по всей стране и могла бы сразу дойти до Долговского района, но не дошла, потому что район был еще оккупирован немцами, читавшими в основном газету не «Правда», а «Фёлькишер беобахтер».

2

Одним из прилежных читателей «Фёлькишер беобахтер» был военный комендант города Долгова оберштурмфюрер СС господин Хорст Шлегель. Сейчас он сидел в своем кабинете, бывшем кабинете бывшего секретаря райкома ВКП(б), героически погибшего Андрея Ревкина. В кабинете с переменой властей ничего принципиально не изменилось: тот же двутумбный, покрытый зеленым сукном канцелярский стол хозяина, тот же длинный стол, приставленный к главному буквой «Т», для заседаний бюро райкома, а теперь неизвестно для чего. Перемена коснулась только портретов. Раньше за спиной секретаря висели портреты Ленина и Сталина, а теперь за спиной коменданта — портрет Гитлера. А от Ленина и Сталина остались два невыгоревших пятна.

В описываемый момент комендант был занят тем, что, насвистывая известную немецкую песню «Ich weiss nicht was soll es bedeuten» на слова еврейского поэта Гейне, собирал посылку жене Сабине из города Ингольштадт. Таким образом он решил наконец ответить на ее многократные и нелепые просьбы прислать ей шелковые чулки, кружевные панталоны и французские духи, потому что ей якобы совершенно не в чем ходить в церковь или в театр. Он ей в ответ первый раз написал, что в церковь и даже в театр не обязательно ходить в кружевном белье, он очень надеется, что никто ей под юбку не заглядывает ни в театре, ни даже на исповеди, а если кто-то где-то и заглядывает, то он ничем этому способствовать не только не хочет, но и не может, потому что здесь того, что она просит, просто нет. Сабина замечание насчет возможных подглядывателей под ее юбку пропустила мимо ушей, но выразила недоумение: неужели там, где он служит, нет женщин, а если есть, то в чем же они посещают церкви и театры? В пример Хорсту она привела их бывшего соседа мыловара Йохана Целлера, который своей Бербель регулярно присылает и нижнее белье, и верхнюю одежду, и косметику. «Mein Shatz (сокровище мое), — отвечал ей язвительно Шлегель, — насколько мне известно, мой друг Йохан служит в Париже, а я в данный момент нахожусь в маленьком российском городе, который ты даже не найдешь на карте. Поверь мне, между этим городом и Парижем есть очень большая разница, и ассортимент здешних товаров не совсем совпадает с тем, что можно найти во французских бутиках».

Поскольку она объяснения его игнорировала и те же просьбы повторяла в каждом письме, он решил ее проучить и по совету своей помощницы фрау Каталины фон Хайс собрал-таки посылку, в которую вложил то, что носили здешние женщины: трикотажные рейтузы с резинками под коленями, шерстяные носки, ватные штаны, ватную телогрейку, объяснил письменно, что это типичный гардероб здешних дам, и ко всему приложил флакон тройного одеколona. Он укладывал свои подарки в картонную посылочную коробку, когда в дверь заглянула только что упомянутая Каталина фон Хайс. Каждый, кому когда-то приходилось встречаться с капитаном Милягой и остаться в живых, узнал бы в этой густо покрашенной блондинке бывшую секретаршу начальника НКВД Капитолину Горячеву. Теперь бывшая Капитолина существовала под своим настоящим именем, а может быть, тоже под выдуманным, иные шпионы настолько часто меняют свои имена и фамилии, что порой и сами не помнят, как именно были когда-то названы мамой и папой. Под своим или подложным именем, но трудилась эта женщина (а может, она и не женщина была?) на благо Великого рейха (или на кого-то еще) в том же кабинете немецкого Там Где Надо, исправляла ту же примерно должность (для виду, конечно, шпионы всегда то, что видно всем, делают понарошку, а на самом деле имеют совсем другие цели). Время от времени исполняла она и внедолжностные обязанности, те же, что и при капитане Миляге. Это дает нам право предполагать, что, наверное, была она все-таки женщиной, потому что, если бы нет, Миляга, или Шлегель, или хотя бы один из них уж до этого

докопался бы. Короче говоря, Каталина фон Хайс (так уж и будем ее называть) заглянула в кабинет своего как бы начальника и сообщила ему, что некий местный селекционер ищет с ним встречи.

— Кто? — переспросил Шлегель.

— Здешний сумасшедший, — сказала Каталина. — Очень забавный тип.

— Ну хорошо, пусть войдет.

Шлегель убрал со стола коробку, сел в кресло и сделал вид, что пишет нечто исключительно важное.

Дверь отворилась, и в кабинет, кланяясь от порога, вошел сопровождаемый Каталиной странный человек в брезентовом плаще поверх ватника, в холщовых штанах в полосочку, заправленных в высокие яловые сапоги с самодельными галошами, склеенными из автомобильной резины. Через плечо у него висела полевая потертая сумка, а в левой руке он держал широкополую соломенную шляпу.

Приблизившись к столу коменданта, посетитель улыбнулся и сказал:

— Здравия желаю, гутен таг, господин комендант, позвольте представиться: Гладышев Кузьма Матвеевич, селекционер-самородок.

Каталина великолепно знала русский язык (не хуже капитана Миляги), а немецкий вообще был для нее родной, но слову «самородок» в немецком языке подходящего эквивалента она не нашла и перевела его как зельбстгеборене — сам себя родивший.

— Как это сам себя родивший? — удивился оберштурмфюрер. — Даже Иисуса Христа женщина родила, а он из яйца, что ли, вылупился?

Каталина засмеялась и перевела вопрос гостю.

Тот с достоинством ответил, что сам себя ни из чего не вылуплял, но, не имея достаточного образования, достиг обширных знаний личным трудом и талантом, в чем-то превзошел даже самых образованных академиков и вывел овощной гибрид, которым желает накормить германскую армию.

Естественно, комендант поинтересовался, что за гибрид. Гладышев положил шляпу на соседний стул, торопливо раскрыл полевую сумку, вынул оттуда несколько газетных вырезок с посвященными ему статьями, заметками и фотографиями и выложил на стол перед комендантом.

Каталина предложила перевести тексты, комендант сказал «не надо» и остановил взгляд на одной из фотографий, где Гладышев был изображен с пучком гибрида, взглянул на самого Гладышева, переглянулся с помощницей.

— О вас так много писали советские газеты. Вы большевик?

— Ни в коем случае! — Гладышев испугался и прижал руку к груди. — Напротив. Являюсь решительным противником советского строя, за что многократно подвергался преследованиям...

Шлегель сложил руки на груди и откинулся в кресле.

— Интересно! Скажи ему, что все русские, которых я здесь встречаю, утверждают, что преследовались коммунистами. И как его преследовали? Арестовывали? Сажали в тюрьму? Пытали? Загоняли под ногти иголки?

Фрау фон Хайс перевела.

Гладышев признал, что таких неприятностей ему, слава богу, удалось избежать. Но советская

власть не признавала его научных достижений и не давала ему возможности вырастить созданный им гибрид, который он назвал ПУКНАС, то есть Путь к национал-социализму.

— Если бы германские власти дали мне достаточно земли под мой гибрид, я мог бы снабдить полностью всю германскую армию. — Зажав шляпу между коленями, Гладышев широко раскинул руки, словно пытался обнять всех, кого готов был накормить. — Вы представляете, господин офицер, с каждой площади мы могли бы снимать двойной урожай картофеля и томатов одновременно!

— Хорошо, — сказал оберштурмфюрер через переводчицу, — мы ваше предложение, возможно, рассмотрим позже, когда закончим эту войну. Имеете сказать что-нибудь еще?

— Еще? — Гладышев замялся, не зная, как изложить гипотезу, которая кому-то может показаться невероятной. Конечно, ни с одним советским чиновником он подобными соображениями поделиться не мог. Но перед ним был представитель иной, более развитой цивилизации. У него должен быть более широкий взгляд на вещи.

— Понимаете... как бы вам сказать... это звучит, вы скажете, дико... и я бы с вами согласился... но я лично был свидетелем превращения лошади в человека.

— Лошади в человека? — переспросила Каталина.

— Допускаю, что вы мне не поверите, — предположил Гладышев, — но у меня есть даже письменное свидетельство. Вот... — Он порылся в полевой сумке и выложил, одновременно разглаживая,

клок бумаги, на котором была написана круглым полудетским почерком одна фраза.

— Что это? — брезгливо посмотрел на бумажку комендант.

— Здесь написано, — перевела фрау фон Хайс, — «Если погибну, прошу считать коммунистом».

— Что это значит? — не понял комендант. — Кого считать? Вас?

— Что вы! — выслушав перевод, заулыбался Гладышев. — Разумеется, не меня. Я в партию никогда заявлений не подавал. Это Ося...

— Ося? — переспросил Шлегель, показав, что и он неплохо говорит по-русски. — По-моему, Ося — это еврейское имя. Не так ли, фрау фон Хайс?

— Еврейское? — испугался Гладышев. И заулыбался: — Но это не еврей. Ося, Осавиахим, он не еврей, он мерин, то есть конь, но, как бы сказать, кастрированный.

— Еврей, господин ученый, — нахмурился Шлегель, — понятие расовое. Еврей, хоть кастрированный, хоть обрезанный или крещеный, для нас все равно остается евреем и должен быть выдан германским властям.

— Тем более, — добавила бывшая Капитолина, — если хочет быть коммунистом.

— Он не хочет, — засуетился и торопливо залепетал Гладышев. — Он хотел. Но его застрелили. Он был мерин, но его застрелили как раз тогда, когда он в результате упорного труда превратился...

— В еврея? — спросил оберштурмфюрер.

— Ни в коем случае, — решительно возразил Гладышев. — Он превратился просто в человека.

— Что значит просто в человека? — заспорил эсэовец. — Какое же просто, если он еще не превратился, а уже просит считать его коммунистом?

— Ну, это он по глупости, — попытался объяснить Кузьма Матвеевич. — По глупости и невежеству, тем более что вырос в советском колхозе и, сами понимаете, имел отсталые взгляды. Но если в принципе германское командование проявит интерес...

— Нет, — решительно сказал оберштурмфюрер. — Германское командование к этому интереса не имеет. Впрочем, нам, — сказал он и поднял кверху указательный палец, — интереснее был бы обратный процесс превращения человека в лошадь. А пока слушайте, господин, сам себя родивший, идите-ка вы к себе домой, и если действительно хотите способствовать идеалам национал-социализма, то начните с выявления скрывающихся у вас евреев и коммунистов.

— Слушаюсь! — повиновался Гладышев и направился к выходу, но у двери все-таки остановился. — Извиняюсь, господин офицер, а как же все-таки насчет моего гибрида?

— Мы о нем поговорим в другой раз, — пообещал оберштурмфюрер. — А сейчас у меня к вам вопрос. Это, извините, что у вас на ногах? Я имею в виду не сапоги, а то, что на них.

— Это? — Гладышев посмотрел на свои ноги, пожал плечами, не понимая, чем его обувь могла заинтересовать столь важного представителя великой Германии. — Это так, резиновые изделия.

— Что-то вроде галош? — попробовал уточнить эсэсовец.

— Можно сказать и так.

— Это советские галоши, — усмехнулась бывшая Капитолина. — Если я правильно помню, русские их называют чуни, гондоны, говнодавы и ЧТЗ. ЧТЗ, — объяснила она Шлегелю, — это Челябинский тракторный завод.

— Очень интересно, — сказал Шлегель. — И они действительно не пропускают влагу?

— Никогда, — заверил Гладышев. — Очень качественный товар.

— Правда? — Шлегель вышел из-за стола, обошел вокруг Гладышева, потрогал чуни ногой. — Послушайте, господин ученый, а не продадите ли вы мне эти ваши вот...

— Мои эти вот?.. — растерялся Гладышев. — Они вам нужны? — Он встрепенулся. — О, если нужны, то конечно. — И стал сдирать чуни, наступая носком одной ноги на пятку другой. — Я с удовольствием преподнесу вам в подарок. В знак огромного уважения.

— В подарок не надо, — остудил его Шлегель. — Вы должны знать, что немецкий офицер взятка не берет. Я вам заплачу за ваш тракторный завод двад... то есть пятнадцать оккупационных марок.

После ухода Гладышева Шлегель добавил приобретенный товар к тому, что уже было уложено в посылочную коробку, и дополнил сопроводительную записку жене объяснением, что эту обувь местные дамы надевают, когда ходят в театры, в кабаре и другие увеселительные учреждения.

В оправдание Кузьмы Матвеевича Гладышева следует сказать, что он вовсе не был убежденным противником советской власти, как и не был осознанным сторонником национал-социализма. Но он, подобно многим ученым, хотел бы стоять в стороне от политики, считал самым главным делом жизни осуществление своих научных изысканий, а с чьей помощью это будет сделано, ему было все равно.

Тем не менее он был своим визитом в Долгов доволен. Ему показалось, что он сумел расположить к себе немецкого коменданта. Конечно, расположил, раз комендант вступил с ним в коммерческие отношения и дал ему встречное задание, которое, вернувшись в деревню, Гладышев принялся немедленно исполнять. Он вырвал из общей тетради два листка и на одном из них написал: «Список евреев деревни Красное» — и на втором: «Список коммунистов деревни Красное». В список коммунистов он внес только одну фамилию — бывшего парторга Килина, которого, впрочем, к тому времени в деревне не оказалось, а под другим незаполненным списком Кузьма Матвеевич написал: «К сожалению, в настоящий момент евреи в деревне Красное не проживают».

Хотя гладышевскому гибриду немцы тоже ходу не дали, но усердие его было ими замечено, и вскоре Кузьма Матвеевич был вызван к оберштурмфюреру Шлегелю и спрошен, не желает ли

он стать старостой деревни Красное. Предложение он принял, потому что смолоду мечтал занять руководящую должность, но при советской власти ему подобного не предлагали.

На посту старосты много вреда нанести односельчанам он не успел, но в одном деле все-таки отличился. Когда пришла от немцев разнарядка реквизировать у наиболее зажиточных крестьян деревни десять голов рогатого скота, в список животных, подлежащих угону, Гладышев первым номером вписал Нюрину Красавку, которую после известного случая он ненавидел так яростно, что желал ей смерти, как заклятому человеческому врагу. Он тогда еще и Чонкина возненавидел, и Нюру, но больше всех на свете, больше Чонкина и Нюры, больше Сталина и Гитлера ненавидел Красавку. Часто вспоминал он, а иногда и видел во сне, как она разорила его огород, как нагло дожирала последний куст пукса, и надеялся, и страстно мечтал, что когда-нибудь доживет до часа икс, когда ее, эту рогатую сволочь, возьмут за веревку и поведут, упирающуюся, на бойню. И вот он дождался до этого счастливого мига.

Ранним утром шесть кривоногих солдат немецкой зондеркоманды выводили Красавку из Нюриного хлева, и корова, как Гладышев и предвидел, что было сил упиралась, выставляла вперед ноги, опускала голову и мотала ею, а Нюра беспомощно пыталась ее отбить. Гладышев смотрел на это в окно и радовался необычайно.

Нюру отталкивали все сильнее, она падала, поднималась и опять кидалась к корове. Гладышев видел, как она пробовала объяснить что-то пожилому фельдфебелю с забинтованным горлом. Умо-

ляюще складывала лодочкой руки, падала на колени, хватала фельдфебеля за ноги. Тот, может быть, и сам был из крестьян, и понимал отчаяние русской женщины, не хотел принести ей вреда и потому не сразу ударил ее, а сначала вырывался и, отпугивая, замахивался прикладом, но когда она опять кинулась к корове и, схватив за веревку, потащила ее к себе, не выдержал и так двинул ее в живот, что она упала и, скрючившись в три погибели, долго лежала у дороги и дергалась, как в агонии, пока Нинка Курзова не подняла ее и не отвела домой.

Угоняемых коров быстро собрали на краю деревни и повели в сторону Долгова строем по подмерзшей дороге, по которой всегда кого-нибудь угоняли. То кулаков в Сибирь, то мужиков в армию, и все по одной дороге, и все в одну сторону — туда, за бугор, за которым была как будто черная дыра. Туда уходили многие, но редко кто возвращался.

Гладышев вышел на крыльцо поглядеть на угоняемую скотину. Он видел, как Нюра пыталась спасти свою корову, видел, как немец сперва отталкивал ее, а потом все-таки ударил. Способности к состраданию селекционер еще полностью не утратил, но ненависть к Красавке и жажда места оказались превыше других его чувств, и, уверившись, что теперь разорительница его научных изысканий понесет заслуженное наказание, он вернулся в избу, выпил на радостях целый стакан своего самогона и сказал сам себе:

- Эх-ха-ха! — И потер в возбуждении руки.
- Чему это ты так радуешься? — спросила его только что проснувшаяся Афродита.